

MARTIN NAG

Oslo

ЕВТУШЕНКО И АХМАДУЛИНА

РАЗБОР ПОЭМЫ ЕВТУШЕНКО „БРАТСКАЯ ГЭС” И ПОЭМЫ АХМАДУЛИНОЙ „МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”

В начале 1960 годов жанр „поэмы” пережил художественное обновление в советской литературе. Самыми выдающимися примерами являются, может быть, *Братская ГЭС* Евгения Евтушенко (1965), *Моя родословная* Беллы Ахмадулиной (1963) и *Оза* Андрея Вознесенского (1964).

Общим для этих поэм является то, что они строятся на видении: действительность — мировая история — свободно была пережита через личность поэта. Эта позиция создает фон, так что даже „нетвердая” композиция „соединяется”: самая страсть видения является этически-эстетическим „цементом”.

1

Евгению Евтушенко было 32 года, когда он в 1965 г. закончил свою большую поэму *Братская ГЭС*. Над этой поэмой он проработал два года, начиная с 1963 г., когда он со стороны Хрущева был подвергнут суровой критике за опубликование за границей своей автобиографии.

К этому времени Евтушенко издал 10—12 сборников своих стихотворений и находился на вершине своей творческой деятельности. Он был самоуверен. Он был в такой степени „самоуверен”, что желал свою личную ситуацию, то есть свои чувства, мысли и суждения превратить в символ ситуации целого поколения, даже целого народа.

Именно в свете этого, в этой перспективе мы и должны рассматривать его поэмы *Братская ГЭС*.

На первый взгляд создается впечатление, что Евтушенко в своем новом произведении принимает критику, признает ее справедливой. Но при этом происходит нечто необычайное: Евтушенко, повидиму, уделяет большее внимание тем, кто критикует его (в большинстве случаев несправедливо) чем тем, кто его хвалит. Он хочет быть любимым также и теми, кто

его ненавидит. Он любой ценой пытается переубедить и тех, кто пока еще не верит в него...

В чем же состоит его „признание ошибок”? Он признается, что он не был достаточно совершенен, ясен, глубок, талантлив. Он хочет сделать большое усилие, углубить свои произведения в художественном отношении, дерзать больше, чем он делал это раньше...

В этой сфере добровольного и вынужденного самоиспытания и создавалась поэма *Братская ГЭС*.

Ставя вопрос более остро, можно сказать, что Евтушенко полностью понимает, что многие из его противников внутри страны смотрят с недоверием на борьбу, которую он ведет за добро, чистоту и правду. И когда он признается, что они правы в своей критике, это значит только то, что он уяснил себе: он не сумел еще переделать их через очистительное влияние своего творчества. Остается только продолжать и с новыми силами двигаться по начатому пути...

Таким образом признание ошибок Евтушенко перед своими противниками внутри страны носит горестно-иронический оттенок: признание есть выражение готовности поэта к страданиям, к принятию на себя чужой вины во имя правды, красоты и свободы.

В небольшом предисловии к поэме *Братская ГЭС* Евтушенко пишет: „Две философии сражаются в мире: философия безверия, пессимизма и философия веры в светлое будущее человечества”.

Это является точкой отправления для поэмы. Основная идея выражается через сопоставление Братской ГЭС, символизирующей веру в человека, и египетской пирамиды, символизирующей неверие в человека.

Прежде чем приступить к поэме, Евтушенко произносит *Молитву перед поэмой*, в которой он обращается за помощью к своим предшественникам, поэтам прошлого столетия: Пушкину, Лермонтову и Некрасову и к поэтам нынешнего столетия: Блоку, Пастернаку, Есенину и Маяковскому.

„Поэт в России — больше чем поэт”, констатирует он вначале и, полный тревоги, задает себе вопрос: „Сумею ли?” Затем он продолжает и, между прочим, говорит:

Дай, Пастернак, смещение дней,
Смущение веток,
Сращение запахов, теней
С мучением века,
Чтоб слово, садом бормоча,
Цвело и зрело,
Чтобы вовек твоя свеча
Во мне горела...
Есенин, дай на счастье нежность мне
К березкам и лугам, к зверью и людям
И ко всему другому на земле,

Что мы с тобой так беззащитно любим...

Дай, Маяковский, мне

глыбастость,

буйство,

бас,

Непримиримость грозную к подонкам,

Чтоб смог и я,

сквозь время прорубясь,

Сказать о нем

товарищам-потомкам...

Затем Евтушенко приступает к самой поэме начиная ее, большой строфой: „Я ехал по России...” Так звучат вступительные слова строфы *За тридцать мне*. За ними следует взволнованный вздох поэта, обращенный к его критикам:

Когда бы вы знали, критики мои,

Как ласковы разносные статьи

В сравнении с моим собственным разносом...

После этих лукавых слов поэт рассказывает о своем отъезде из Москвы. Позади остались и Хрущев, и критики, и писательская среда:

...Я ехал по России вместе с Галей,

Куда-то к морю в „Москвиче” спеша

От всех печалей...

Вместе со своей женой, Галей, он ищет встречи с древней, но всегда такой новой Русью, чтобы найти вдохновение.

Он говорит с оттенком пророчества, что когда Россия безмолствовала, „... явился Пушкин просто и прозрачно, как самоосознание ее”. Таким самоосознанием для своей родины хочет быть и Евтушенко...

И свою опору для этого он находит в следующих словах: „Мир был прекрасен. Надо было драться за то, чтоб он еще прекрасней был!” Поэт восклицает:

О шар земной, не лги и не играй!

Ты сам страдаешь, больше лжи не надо!

Я с радостью отдам загробный рай,

Чтоб на земле поменьше было ада!

Евтушенко среди умерших упоминает имена трех великих людей, Пушкина, Толстого и Ленина, но добавляет: „Ну что же, мы живые. Наш черед”.

В это время в поэме выходит на арену сомнение и в *Монологе египетской пирамиды* Евтушенко прямо выражает неверие в человека, охлаждая оптимистически пыл веры в прогресс. Пирамида вздыхает:

Те же тюрьмы, —
только современные.
То же угнетение,
Только более лицемерное.

В этих словах нетрудно заметить подразумеваемый подтекст: Евтушенко соединяет свой собственный вздох со вздохом пирамиды. Ибо опыт недавнего прошлого показывает, что пирамида права, даже когда речь идет о ситуации внутри советской страны. Пирамида, бросая Братской ГЭС вызов, говорит:

Ну-ка, сфинкс, под названием Россия,
Покажи свой таинственный лик!

И пирамида произносит слова, которые могут быть девизом и для Евтушенко самого:

Проклинаю любое бессмертие,
Если смерти —
его фундамент!

То обстоятельство, что эти ключевые слова вложены в уста пирамиды, пытающейся обосновать свое неверие в человека, создает иронический отход от истины, содержащейся в этих словах. В устах пирамиды эти слова лицемерны, ибо бессмертие пирамиды как раз и зиждется на смерти...

Критика, заключающаяся в этих словах, заостряется и направляется внутрь советского общества. Ее положительное содержание — призыв к гуманизму, крик Евтушенко о применении только хороших средств для достижения хорошей цели...

Что Евтушенко нападает не только на внешнеполитическое окружение страны, но и на ее внутреннее положение, становится, может быть, еще яснее в следующей строфе, названной *Песней надсмотрщиков*. Здесь, между прочим, говорится:

Основа государства —
надсмотр,
надсмотр.
Народ без назидания
работать бы не смог,
Основа созидания —
надсмотр,
надсмотр...
Основа героизма —
надсмотр,
надсмотр.
Опасны, кто задумчивы.
Всех мыслящих —
к заклятью.

Надсмотр за душами
важней,
чем за телами.

Вы что-то загалдели?

Вы снова за нытье?

Свободы захотели?

А разве нет ее?!...

Мы —

надсмотрщики.

Мы гуманно грубые...

Плетками

по черным

спинам

рубя,

внушаем:

„Почетна

работа

раба”....

Также и эти слова не могут не отозваться эхом внутри страны: они наводят мысль не только на египетские пирамиды, но и на жестокую действительность времен Сталина...

Пирамида вещает, что рабство — это состояние, которое будет продолжаться вечно: рабы в сущности благодарны за свое угнетение. И пирамида с триумфом продолжает:

...Говорят,

уничтожено рабство...

Не согласна:

еще мощей

рабство всех предрассудков расовых,

рабство денег,

рабство вещей...

И в этих словах, где поэт встает на защиту анти-отчужденной формы существования, мы слышим предупреждающий голос самого Евтушенко, с горечью познающего действительность. И горечь воплощающей интонации становится еще горьше, потому что фундаментальный вопрос — триумф неверия — вложен в уста пирамиды: „Люди, где ваш хваленный прогресс?”.

В *Монолог Братской ГЭС* Евтушенко предоставляет слово противостоящим силам. Мы испытали угнетение чужеземцев, вторгнувшихся к нам, „и свои — пострашнее татар”, констатирует Братская ГЭС (и сам поэт).

— сложилось на свете поверье

о великом терпенье ее.

Прославлено терпение России.

Оно до героизма доросло...

Но из недр наружу прорывается вопрос: „... как терпела она само терпение свое?!” В ответе на этот вопрос заключено нечто важное — непобедимость России. Потому что

Есть немошное, жалкое терпение...
России суть совсем не такова.
Ее терпенье — мужество пророка,
который умудренно терпелив.
Она терпела все...
Но лишь до срока,
как мина.

А потом случался взрыв!

Опираясь на эти теоретические наблюдения в лирической форме, Евтушенко переходит к изображению ряда конкретных сцен, которые имеют целью вдохнуть жизнь в его суждения, в его видение.

Мощные аккорды звучат в строфе *Казнь Стеньки Разина*, где главная мысль высказывается так: „Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра”. Не видим ли мы в этих словах ситуацию самого Евтушенко? И Братская ГЭС дает ответ, содержащий и утешение, и обещание:

Все за правду когда-то погибшие
не зазря погибали,
нет!

В особой строфе *Декабристы* Евтушенко изображает молодых, либерально настроенных дворян, которые возглавили, окончившееся провалом, восстание в декабре 1825-го года:

А их в измене обвиняла
и смрадной грязью обливала...
Не в этих мальчишках таилась
измена родине своей...
Боялись тех, кто просто юны..
О, ... благоденственны,
... изменники измены...

В этих словах речь об идентификации с прошлым: в борьбе, которую вели декабристы, Евтушенко узнает черты своего собственного поколения. Он во всеуслышание заявляет:

В каждом русском настоящем
где-то спрятан декабрист.

В том же духе Евтушенко чувствует и мятежную группу петрашевцев, к которой одно время принадлежал Достоевский.

Преступлением стало — против
преступлений восставать —

заявляет Евтушенко в строфе, где он описывает ту борьбу, которую вел революционер-демократ и литературный критик Чернышевский.

В качестве контраста Евтушенко сопоставляет угнетение с картинами из жизни народа, чтобы показать те силы, которые тогда, несмотря ни на что, были бессмертны:

Тебя хотели бы видеть пьяною —
цари,
чиновники,
но ты сильна,
и, если даже ты стонешь,
падая,
то поднимаешь
сама себя!

Здоровая молодая сила русского народа переживает все. Но пирамида протестует:

Но справедливость, к власти придя,
становится несправедливостью.
Людей существо — оно таково...

Те же слова произносит офицер, с которым полемизирует Нурдаль Григ в своем стихотворении *Человеческая природа*. Чтобы доказать, что пирамида неправа, Евтушенко рассказывает о крестьянских ходаках, которые пришли к Ленину за советом о делах больших и малых. Ленин был справедлив, он был идеалист. И Евтушенко восклицает:

Циники —
балласт на корабле
человечества,
а идеалисты —
руль и паруса...
Я за воинственных,
а не молитвенных
идеалистов действия!

В этом портрете идеалиста мы распознаем черты самого Евтушенко, как человека и как поэта.

Против азбуки сомнения Евтушенко выдвигает другую азбуку, „Азбуку революции”.

У него имеются строфы, озаглавленные *Бетон Социализма* и *Партбилеты*. Таковы заключительные слова строфы *Партбилеты*:

Только тот партбилета достоин,
для кого до конца его лет
партбилет — это сердце второе,
ну, а сердце — второй партбилет.

Братская ГЭС вновь врывается в поэму и призывает к борьбе за то, „чтобы не было больше нигде на земле фараонов больших и малых” и „чтобы всегда, справедливость, к власти придя, оставалась навек справедливостью”.

Ассоциации недалекого прошлого — времен Сталина — напрашиваются сами.

Затем Евтушенко обращается к мертвым, сначала к тем, кто погиб на войне на разных фронтах, потом ко всем тем, кто умер в концентрационных лагерях Сталина. Революционеры в этих лагерях не потеряли веры, а наоборот сохранили свой боевой дух, и ни мелкопомещанские сплетни, ни Берия не сумели посеять в них семена недоверия к советской власти.

ни мещан шепотки,
ни Берия
не добились неверия в Советскую власть!

Этот парадокс, что справедливая борьба продолжалась там, где под именем справедливости несправедливость была возведена в систему, имеет в России долгую традицию.

Евтушенко вспоминает тех, кто погиб в ушедших в прошлое тюрьмах и лагерях Сибири, извлекая из парадокса заключенную в нем мудрость: „А сострадание высшее — борьба”, утверждают вызванные Евтушенко „призраки в тайге”.

Эта борьба может принимать различные формы. Строительство Братской ГЭС одна из таких форм. Символическое значение приобретает одна из строф поэмы Евтушенко, где поэт рассказывает, что строители Братской ГЭС поселяются в бараках бывшего концентрационного лагеря...

Строители получают благославление от старой женщины:

Вы стройте...,
лишь только б не для зла.
Моя избушка под воду
уйдет, ну и уйдет,
лишь только б люди подлые
не мучили народ...

Затем Евтушенко рисует портреты некоторых строителей Братской ГЭС. Покрытый сединами, бетонщик Нюшка, побывал в концентрационных лагерях на Колыме, в Воркуте, Магадане.

И какое я право имею
веру в жизнь потерять...,
если люди...
не теряли ее в лагерях! —

спрашивает Евтушенко.

И инженер Карцев испытал на себе партийные чистки и долгое время провел в концентрационном лагере. Он говорит:

И то величие, которое представляет поэзия в жизни, победит —

... над ложным,
бессмысленным величием пирамид.

Через страдания Россия идет к свету, к любви:

Еще немало на земле рабов,
Еще не все надсмотрщики исчезли,
Но ненависть всегда бессильна, если
не созерцает — борется любовь.

Нет чище и возвышенной судьбы —
всю жизнь отдать, не думая о славе,
чтоб на земле все люди были вправе
себе самим сказать: „Мы не рабы“.

Этими словами, полными триумфа и веры, заканчивается поэма *Братская ГЭС*. Наш разбор ставил себе целью показать, что отдельные части поэмы связаны между собою, хотя по своей форме и содержанию они самостоятельны. Их объединяет внутренний пафос сведения счетов, расплаты с самим собой, с прошлым страны. Сведение счетов касается не только общественной жизни страны, но и всего мира и действующих в нем жестоких сил. Создаваемая таким образом напряженность, придает поэме особую глубину, оказывающую воздействие на читателя. Поэма заинтересовывает, бросает читателю вызов, разрешает от бремени положительные, прогрессивные силы, как внутри, так и вне границ Советского Союза. Поэма — катализатор борьбы людей доброй воли всех стран.

2

Белла Ахмадулина, год рождения 1937, выпустила только один сборник стихов, вышедший в 1962 году, под названием *Струна*. В то время ей было 25 лет. Но несмотря на это, Белла Ахмадулина уже сделалась понятием, символом созидательного таланта, ставящего перед собой безкомпромиссные требования. Как раз то, что Белла Ахмадулина сохраняет верность своему таланту и следует своему назначению, вызвало сильное неудовольствие у тех, кто выдает себя за знатока, у всех черствых моралистов и педантов-педагогов, которые вследствие своего слабо развитого слуха, считают, что она обошла молчанием существенные вопросы.

В 1963 году Белла Ахмадулина подверглась сильным нападкам со стороны критики.

На эти нападки она ответила не прямо, а через посредство новой большой поэмы *Моя родословная*. В ней она изложила свое происхождение, свою биографию. Она нарисовала свой собственный портрет, изобразив отдельные стадии борьбы, происходившей в ее роде. Это был ответ, данный Ахмадулиной ее критикам и тем, кто не верил в нее.

И этот ответ-автопортрет, наполнен таким цветущим и дразнящим задором, содержит в себе столько артистически отточенной меткости и выразительности, что мы с полным основанием можем утверждать, что поэма сама по себе, как акт художественного творчества, является блестящим доказательством ошибочности позиции, занятой противниками Ахмадулиной в оценке ее творчества. Ибо как раз Белла Ахмадулина в несравненно большей степени, чем ее противники, пишет и занята существенными вопросами.

Драматический эффект глубины в поэме *Моя родословная* имеет конкретную предпосылку в том факте, что Белла Ахмадулина со стороны матери итальянского, а со стороны отца татарского происхождения. В ее душе сходятся Европа и Азия, расщепляют и воссоединяют ее.

Поэма состоит из тринадцати частей с отдельными небольшими отступлениями, являющимися или авторскими комментариями, или лирическими и ироническими интерлюдиями.

Ахмадулина начинает с констатации: „И я спала все прошлые века“. Ее рождение подготовлено, но, чтобы оно не затянулось слишком долго, Ахмадулина шутливо восклицает: „поторопитесь, прадеды, прабабки!“ Затем она обращается к читателю: „Читатель милый, поиграй со мной! Мы два столетия вспомним в этих играх“.

После этого она начинает описание игры своей жизни. Эта игра, начавшаяся задолго до ее рождения, была самого серьезного свойства.

Она должна бороться за свое рождение. Могучие силы противостоят ее рождению. Один из ее предков, татарин Игрек, хочет уничтожить свою дочь Марию — она недостойна жить. Но Белла Ахмадулина возражает:

... я тогда родиться не сумею!
Я — чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.
И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
опустошит гортань, чтоб пригубить,
о Жизнь, твой острый, быющий в ноздри воздух?

На что Игрек, грозный во всем своем жестокосердии и с нелепым триумфом, отвечает: „Не дожدهшься. Шиш!“

Но Белла Ахмадулина не сдается:

Между прочим, я дождусь,
в чем торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком...

Но Игрек упрям:

Помолчи. Я — вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя...
... усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха — ха!

Против этого взрыва невежества и бессилия, Ахмадулина произносит, с оттенком обращения к реальным событиям, свой непримиримый, как судьба, приговор:

Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Эти слова звучат как программное заявление всего нынешнего молодого поколения советских лириков.

Белла Ахмадулина приводит новые доводы: „...небытием моим я утомилась”. И все кончается тем, что Игрек вынужден уступить Марии, своей дочери, которую он хотел заточить в монастырь.

Ахмадулина приветствует „грех” Марии и восклицает:

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтора года
к моим губам прилив твоей улыбки.

Итальянский шарманщик, приехавший в Россию с труппой артистов, мечтает о своем далеком потомке, Белле Ахмадулиной. Он поет:

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

И Белла приветствует и просит за него:

...ура, ура! — шут прибыл итальянский...
Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Ахмадулина лукаво добавляет, что в случае, если шарманщик будет плохо принят в России:

я —

тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета,
... все ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох,
... в домарковском, нематериальном мире.
Но я шучу...,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.

Если итальянские предки наградили существо Ахмадулиной некоторой долей от шута, со стороны же татарских предков она унаследовала „незапамятный дух азиатства“, который „тяжело колобродит во мне“ и соединен с потребностью „...выразить открытый взор славянства“.

Некоторые из предков Ахмадулиной кончили сумасшедшим домом, в чем Ахмадулина, не скрывая этого наследия, признается. Более конкретно речь идет об одной молодой девушке, с которой Ахмадулина идентифицирует себя трагически безраздельно:

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Такой же молитвой, повидиму, молилась и Ахмадулина, когда противники тесным кольцом окружали ее и, хотя не набрасывались на нее прямо с бранью, то все же высказывали недвусмысленные намеки на то, что Ахмадулина, должно быть, сумасшедшая. Она так не похожа на других, так эксцентрична, так самостоятельна, так упряма в сохранении верности самой себе.

Но сразу же после „признания“ в том, что она иногда действительно чувствует себя „сумасшедшей“, Ахмадулина переходит к рассказу об Александре Стопани, потомке шарманщика Стопани. Александр Стопани был известным революционером. Его взгляды на человека и свободу выражены следующими словами:

— Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зрения.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творения.

Все для него: ему назначен мед
земных растений, труд ему угоден.
Но все ж он бездыханен, слеп и мертв
до той поры, пока он не свободен...

... Стесняет грудь его
дух, укрепленный мускулом свободы.
Пусть завершится зрелостью дерев

младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

И уже сама Ахмадулина добавляет:

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Белла Ахмадулина в этих стихах говорит от имени всего молодого поколения. Она требует для него свободы беспрепятственного роста и развития, свободы оставаться самим собой.

Монолог свободы Ахмадулина сопоставляет с монологом угнетения, который она влагает в уста жандарма, подвергающего аресту Александра Стопани:

Всем, кто бунты разжигал,
всем студентам —
... жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал,
... всем я должное воздам.

Разве в этих словах не слышен подтекст, обращенный к реальным событиям? Ахмадулина заявляет о своей солидарности со студентами, евреями и поэтами в обстановке страны в настоящее время. Больше того, эта солидарность включает и саму Беллу Ахмадулину в свою орбиту: „Глупец, что быть собою обязательно желал”.

Жандарм продолжает:

Всем, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой порадою...

Жандарм проявляет такое усердие по службе, потому что он ждет награды. И он представляет реальную угрозу для рождения Ахмадулиной. Жандарм уверяет: „А тебе на этом свете появиться я не дам” и продолжает:

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе...

Но здесь жандарм бросает вызов законам природы, изменить которых он не может. Суждено „земле лететь, вершить глубокий вздох и соблюдать свою закономерность”. И зародыш приобретает все более и более ясные очертания: „Мне кажется, что скоро грянет крик доселе неизвестного ребенка”.

Оказывается „ребенок”, о котором здесь говорится — революция: „Грянь же, грянь, новорожденный крик той Свободы!...” Но и время Ахмадулиной приближается: „дудит апрель ... нацеленный в меня... Округлое дитя из тишины появится, как слово из помарок”.

Но вот всерьез начались и сами роды:

Я жду рождения, спешу теперь,
как посетитель в тягостной приемной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом и — предстать в ее проеме.

За этим шутливо-ироническим сравнением следует еще одно сравнение, в котором Ахмадулина высказывает свою тревогу и свое ожидание:

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волнением среди кулис,
в потемках, за минуту до дебюта!

Дальше ее слова: „Знать ... выдох твой имеет форму слова”, содержат характеристику творческой манеры и поэтических приемов Ахмадулиной.

В следующем разделе Ахмадулина ставит перед собой весьма существенный вопрос:

Сумею ли прожить — шутя,
всерьез...
как дождь идет, как зверь или дитя,
играют с миром, молоко лакая.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж „да” и „нет”, небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок...
... предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю.

Но есть силы, которые хотели бы, чтобы ребенок, подобный Белле Ахмадулиной, не был рожден:

Я — умник, много лет проживший,
я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
все ж есть свое благополучие.

Этому „хорошему” совету Ахмадулина не хочет последовать, что, по всей вероятности, она имела случай услышать не один раз и после своего рождения...

На боязнь, глупость и безжизненность окружения, она отвечает следующими, полными уверенности, словами, которые становятся программой действия для Ахмадулиной:

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —
не стать и не принять лицо,
талант и имя человека.

В конце своей поэмы Ахмадулина признается:

Мне нравится, что жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка...

Затем она добавляет кокетливо, но гордо:

Что еще вам сказать?
Я не знаю.
И не знаю, я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.
Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.
Написала все это Ахмадулина Белла Ахатовна.
Год рождения — 1937. Место рождения — город Москва.

Что бы люди ни говорили, а они говорят многое, Белла Ахмадулина остается собой, не отказывается от своей родословной, как не отказывается она от своей жизни.

Она просит не за себя. Она призывает, чтобы все живущее, символизированное в поэме ребенком, было окружено заботой и вниманием. В небольшом вступлении к поэме, Ахмадулина говорит: „От сколького он зависит в своей незащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба”.

Таким образом мы видим, что призыв Ахмадулиной, который красной нитью проходит через все ее произведения — это призыв к новому гуманизму, призыв к миру, который является органически составной частью ее богатой, цветущей натуры, ее жизни в стихе.

JEWTUSZENKO I ACHMADULINA

Analiza poematów: Jewtuszenki *Bratskaja GES* (Bracka hydroelektrownia)
i Achmaduliny *Moja rodosłownaja* (Mój rodowód)

STRESZCZENIE

W poemacie *Bratskaja GES* Jewtuszenko wprowadza motyw spotkania z wielką budową socjalistyczną w celu dokonania „sądu” nad samym sobą: ogólnoludzką walką dobrego ze złem toczy się również i w samym poecie. To właśnie jest zasadniczą podstawą poematu. Poszczególne rozdziały utworu nie są bynajmniej „ilustracjami” tej walki, lecz organicznymi jej składnikami i dlatego stanowią one wewnętrzne ogniwa troską przesycionej wizji poetyckiej.

Poemat Achmaduliny *Moja rodosłownaja* to szczególnie obraz przeżywania samej siebie — i okresu, gdy jej jeszcze nie było na świecie, i późniejszego, gdy przestanie istnieć. Jej istnienie zależy zarówno od jej przeszłości, jak i przyszłości. Świadomość tego dodaje jej duchowych sił do zachowania wierności sobie i jej epoce, w tej podwójnej perspektywie jej wizja poetycka zyskuje pełną, plastyczną i wyrazistą samowiedzę.

Przełożył Jan Trzynański

JEWTUSCHENKO UND ACHMADULINA

Analyse des Gedichtes *Bratskaja GES* (Bratsker Talsperrekraftwerk) von Jewtuschenko und der Dichtung *Moja rodoslovnaja* (Meine Abstammung) von Achmadulina

ZUSAMMENFASSUNG

In seinem Poem *Bratskaja GES* wählt Jewtuschenko diese Begegnung mit dem grossen Talsperrekraftwerk nur dazu, um gleichsam „Gericht” über sich selbst zu halten: der allgemeinmenschliche Kampf zwischen Gut und Böse wird auch in seinem Innern ausgetragen. Das eben macht den Inhalt des Gedichtes aus, dessen einzelne Kapitel nicht nur „Illustrationen” dieses Kampfes sind, sondern zugleich auch seine organischen Bestandteile, wodurch sie zu einzelnen Bindegliedern der ergreifenden Vision des Dichters werden.

Im Poem *Moja rodoslovnaja* erlebt Achmadulina gleichsam sich selbst, sowohl als die noch nicht Geborene, als auch als diejenige, die nicht weiter existieren wird; ihr Dasein hängt von ihrer Vergangenheit und von ihrer Zukunft ab. In diesem Bewusstsein findet sie ihre geistige Nahrung, von der ihre Treue sich selbst und ihrer Zeit gegenüber lebt. In dieser charakteristischen, dialektischen Perspektive gewinnt die Art ihrer Selbstbetrachtung einen besonderen Ausdruck und eine besondere Plastizität.

Übersetzt von Mieczysław Urbanowicz